

*...И слышу (не грезит ли ухо
Отравленно стрелами дня?),
Как женищина тускло и глухо
Гнусила строку из меня.
Арсений Несмелов*

Великий русский поэт. Настоящее имя – Арсений Иванович Митропольский. Непримирымый и последовательный враг большевистского режима, участник московского восстания юнкеров, офицер войска Верховного Главнокомандующего Российской армии адмирала Колчака.

В 1924 году Несмелов сумел бежать из СССР в Харбин, где заслужил славу «лучшего русского поэта Китая».

Короткие строки Несмелова о самом страшном чудовище в истории России стоят всех томов Солженицына.

С пронзительной болью он пишет о том, что было бы,

*«...Если бы нечисть не принесло,
Запломбированную в вагоне».*

И о том, что

*«Этот день возник, кроваво вспенен,
Этим днём начался русский гон, –
В этот день садился где-то Ленин
В свой запломбированный вагон».*

Но ненависть к преступному режиму сыграла с поэтом злую шутку: в Харбине он вступил в Российскую фашистскую партию. Не будем

только забывать, что Несмелов (в отличие от многих марксистов-ленинцев) не замарал себя антисемитизмом и, более того, написал в 1944 году стихотворение «Старый часовщик», являющееся, по мнению Евгения Витковского, «одним из лучших стихотворений еврейско-русской темы».

Настоящий поэт, даже когда он пишет о прошлом, охватывает своим взором и настоящее, и будущее. Слова Несмелова: «В наше ж время не сдавались в плен, потому что в плен тогда не брали!», оказались пророческими. Он не сдался. Арестованный и вывезенный в СССР, он просто ушел из этого мира, умерев в пересыльной тюрьме. Ему было пятьдесят шесть с половиной лет.

Обратите, пожалуйста, особое внимание на БАЛЛАДУ О ДАУРСКОМ БАРОНЕ (имеется в виду барон Роман Фёдорович фон Унгерн-Штернберг). Это – один из самых ужасных и самых прекрасных шедевров русской, да что там русской – мировой поэзии.

Вадим Молодой

СКАЗКА

Я шел по трущобе, где ходи
Воняли бобами, и глядь –
Из всхлипнувшей двери выходит
Шатаясь притонная блядь.
И слышу (не грезит ли ухо
Отравлено стрелами дня?),
Как женщина тускло и глухо
Гнула строку из меня.
И понял восторженно-просто,
Что все, что сковалось в стихе,
Кривилось горящей берестой
И в этом гнезде спирохет.

ПЕРЕД КАЗНЬЮ

Моя душа – на цыпочках. И нечто
Поёт об изумительном, большом
И удалённом в бесконечность... Речь та –
Как контур, сделанный карандашом.

Прикосновение вечного – интимно,
И может быть, задумчивость моя:
В туманности светящейся и дымной –
Летящее, оторванное Я.

Вот облако, похожее на ветер,
Вот облако, похожее на взрыв...
Сегодня глаз прозорливо отметил
На всё следы таинственной игры.

НА ВОДОРАЗДЕЛЕ

Воет одинокая волчиха
На мерцанье нашего костра.
Серая, не сетуй, замолчи-ка,
Мы пробудем только до утра.

Мы бежим, отбитые от стаи,
Горечь пьем из полного ковша.
И душа у нас совсем пустая,
Злая, беспощадная душа.

Всходит месяц колдовской иконой,
Красный факел тлеющей тайги...
Вне пощады мы и вне закона,
Злую силу дарят нам враги.

Ненавидеть нам не разучиться,
Не остыть от злобы огневой...
Воет одинокая волчица,
Слушает волчицу часовой.

Тошно сердцу от звериных жалоб,
Неизбывен горечи родник...
Не волчица – родина, пожалуй,
Плачет о детенышах своих.

ОТ ТОЙ ПОЛОВИНЫ ЛУНЫ...

От той половины Луны,
Которая нам не видна,
Исходят жестокие сны,
Властители нашего сна.

Крича от видений ночных
Проснемся и смотрим во мрак,
И вот, вспоминая о них,
Не можем их вспомнить никак.

Я верю: улыбку и шаг,
Где радость и воля слышны,
Берет караулящий враг,
Серебряный житель Луны.

Ведет он старательный счет
Могущим смеяться и петь.
И воля земная течет
На лунную гулкую медь.

И радости нашей полны
Ее водоемы до дна
На той половине Луны,
Которая нам не видна.

ВСЕ НАСТОЙЧИВЕЕ И ГРОМЧЕ...

Всё настойчивее и громче,
Всё упрямей тревоги вой...
Вижу гибель мою, как кормчий
Видит глыбу перед собой.

Доведу ли кораблик малый
Под желанные небеса,
Или ринутся снова шквалы
Изорвать мои паруса?

Знаю только – своё неважно,
На любую готов игру,
Но доверен руке отважной
Драгоценнейший тайный груз!

И стальное моё бесстрастье –
Закалённая страсть его! –
Это счастье моё, а счастье –
Сила, правда и торжество!

Даже гибель и та чудесна,
И напрасен тревоги вой:
Погибая, я стану песней,
Поднимающей, заревой!

БАЛЛАДА О ДАУРСКОМ БАРОНЕ

К оврагу,
где травы рыжели от крови,
где смерть опрокинула трупы на склон,
папаху надвинув на самые брови,
на черном коне подъезжает барон.

Он спустится шагом к изрубленным трупам,
и смотрит им в лица,
склоняясь с седла, –
и прядает конь, оседающий крупом,
и в пене испуга его удила.

И яростью,
бредом ее истомясь,
кавказский клинок,
– он уже обнажен, –
в гниющее
красноармейское мясо, –
повиснув к земле,
погружает барон.

Скакун обезумел,
не слушает шпор он,
выносит на гребень,
весь в лунном огне, —
испуганный шумом,
проснувшийся ворон
закаркает хрипло на черной сосне.

И каркает ворон,
и слушает всадник,
и льдисто светлеет худое лицо.
Чем возгласы птицы звучат безотрадней,
тем,
сжавшее сердце,
слабеет кольцо.

Глаза засветились.
В тревожном их блеске —
две крошечных искры.
два тонких луча...
Но нынче,
вернувшись из страшной поездки,
барон приказал:
Позовите врача!

И лекарю,
мутной тоскою оборон,
(шаги и бряцание шпор в тишине),
отрывисто бросил:
Хворает мой ворон:
увидев меня,
не закаркал он мне!

Ты будешь лечить его,
если ж последней
отрады лишусь — посчитаюсь с тобой!..
Врач вышел безмолвно,
и тут же в передней,
руками развел и покончил с собой.

А в полдень,
в кровавом Особом Отделе,
барону,
– в сторонку дохнув перегар –
сказали:
Вот эти... Они засиделись:
Она – партизанка, а он – комиссар.

И медленно,
в шепот тревожных известий, –
они напряженными стали опять, –
им брошено:
на ночь сведите их вместе,
а ночью – под вороном – расстрелять!

И утром начштаба барону прохаркал
о ночи и смерти казненных двоих...
А ворон их видел?
А ворон закаркал? –
барон перебил...
И полковник затих.

Случилось несчастье! –
он выдавил
(дабы
удар отклонить –
сокрушительный вздох), –
с испугу ли, –
все-таки крикнула баба, –
иль гнили объевшись, но...
ворон издох!

Каналья!
Ты сдохнешь, а ворон мой – умер!
Он,
каркая,
славил удел палача!...
От гнева и ужаса обезумев,

хватаясь за шашку,
барон закричал:

Он был моим другом.
В кровавой неволе
другого найти я уже не смогу! –
и, весь содрогаясь от гнева и боли,
он отдал приказ отступить на Ургу.

Стенали степные поджарые волки,
шептались пески,
умирал небосклон...
Как идол, сидел на косматой монголке,
монголом одет,
сумасшедший барон.

И шорохам ночи бессонной внимая,
он призраку гибели выплюнул:
Прочь!

И каркала вороном –
глухонемая,
упавшая сзади,
даурская ночь.

Я слышал:
В монгольских унылых улусах,
ребенка качая при дымном огне,
раскосая женщина в кольцах и бусах
поет о бароне на черном коне...

И будто бы в дни,
когда в яростной злобе
шевелится буря в горячем песке, –
огромный,
он мчит над пустынею Гоби,
и ворон сидит у него на плече.

НИЩИЕ ДУХОМ

*Он же сказал: – Иди, – и
вышел из лодки. Пётр пошёл
по воде, чтобы подойти к Иисусу*

Мудрость наша – липкость книжной пыли,
Без живого запаха флакон.
Никогда узлов мы не рубили,
Не шагали через Рубикон.

Хитрый, робкий, осторожный табор,
Трёх идей томительная нудь, –
Никогда нам, никогда нам за борт
К светлому виденью не шагнуть!

Ящички без всякого секрета,
Всякой мысли куцые концы, –
Мы не рыбаки из Назарета
И не мудрецы, а хитрецы.

Руку другу мы не подавали,
Страшным словом насмерть не клялись,
Наши лица в рамочном овале
Кажутся мне мордочками лис.

Нам, как в панцирь, заточённым в муку, –
Краткий день отжёвывать в беде,
И не нам протягивает руку
Светлый Бог, идущий по воде!